
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ЭСТЕТИКА
И ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА



МОСКВА
«ИСКУССТВО»
1984

Вяземский П. А.
В 99 Эстетика и литературная критика /Сост., вступ.
статья и коммент. Л. В. Дерюгиной.— М.: Искусство,
1984.—458 с.—(История эстетики в памятниках и
документах).

В сборник вошли литературно-критические и эстетические статьи и мемуарно-биографические очерки П. А. Вяземского /1792—1878/, главы из его монографии о Фонвизине, фрагменты из записных книжек и писем. Наибольшее внимание уделяется соотношению литературы и общественной жизни, национальному своеобразию литературы и искусства, борьбе литературных направлений первой половины XIX века. Большая часть материалов в советское время переиздается впервые.

• 0302060000-82
В _____ 10-84
025(01)-84

ББК 83.3Р1
8Р1

являться часто в академию. Но забавно было, что Крылов оставлял за собою свободными почтовые дни, он, который, вероятно, изо всех смертных наименее пользовался письменною почтою.

МОСКОВСКОЕ СЕМЕЙСТВО СТАРОГО БЫТА

Князь Петр Александрович Оболенский, родоначальник многоколенного потомства Оболенских, был в свое время большой оригинал (то есть таковым был бы он преимущественно ныне, а в прежнее время, в эпоху особенных личностей и физиономий более определенных, оригинальность его не удивляла и не колола глаза). Последние свои двадцать—тридцать лет прожил он в Москве почти безвыходным домоседом. Из посторонних он никого не видал и не знал. Дома занимался он чтением русских книг и токарным мастерством. Он, вероятно, был довольно равнодушен ко всему и ко всем, но дорожил привычками своими. День его был строго и в обрез размежеван; чресполосных владений и участков тут не было: все имело свое определенное место, свою грань, свое время и меру свою. Разумеется, он рано и в назначенные часы ложился, вставал и обедал; обедал всегда один, хотя дома семейство его было многолюдно. Старичок был он чистенький, свеженький, опрятный, даже щеголеватый; но платье его, разумеется, не изменялось по моде, а держалось всегда одного и им приспособленного себе покроя. Все домашние или комнатные принадлежности отличались изящностью. Английский *комфорт* не был еще тогда перенесен в наш язык и в наши нравы и обычаи; но он угадал его и ввел у себя, то есть свой комфорт, не следуя ни моде, ни нововведениям. Осенью, даже и в года довольно престарелые, выезжал он с шестью сыновьями своими на псовую охоту за зайцами. Как ни дичился он, или по крайней мере как ни уклонялся от общества, но не был нелюдим, суров и старчески брюзглив. Напротив, часто добрая и несколько тонкая улыбка озаряла и оживляла его младенчески-старое лицо. Он любил иногда и слушать и сам отпускал шутки, или веселые речи, которые на французском языке называются *gaudrioles*¹, а у нас не знаю как назвать благопри-

лично, и которые обыкновенно имеют особенную прелесть для стариков даже и беспорочно-целомудренных в нравах и в житье-бытье: лукавый всегда чем-нибудь, так или сяк, а слегка заманивает нас в тенета свои. Князь Оболенский одиночеством или особничеством своим не тяготился, но любил, чтобы дети его — все уже взрослые — заходили к нему поочередно, но не надолго. Если они как-нибудь забудутся и засидятся, он, дружески и простодушно улыбаясь, говаривал им: милые гости, не задерживаю ли вас? Тут мгновенно комната очищалась до нового посещения. В детстве моем мне всегда было приятно, когда он допускал меня в свою изящную и светлую келью: бессознательно догадывался я, что он живет не как другие, а по-своему.

Женат князь Оболенский был на княжне Вяземской, сестре князя Ивана Андреевича. В продолжение брачного сожителства их имели они двадцать детей. Десять из них умерло в разные времена, а десять пережили родителей своих. Несмотря на совершение своих двадцати женских подвигов, княгиня была и в старости, и до конца своего бодрa и крепка, роста высокого, держала себя прямо, и не помню, чтобы она бывала больна. Таковы бывали у нас *старосветские помещицы* сложения. Почва не изнурялась и не оскудевала от плодovитой растительности. Безо всякого приготовительного образования, была она ума ясного, положительного и твердого. Характер ее был таков же. В семействе и в хозяйстве княгиня была князь и домоправитель, но без малейшего притязания на это владычество. Оно сложилось само собою к общей выгоде, к общему удовольствию, с естественного и невыраженного соглашения. Она была не только начальницею семейства своего, но и связью его, сосредоточием, душою, любовью. В ней были нравственные правила, самородные и глубоко засевшие. В один из приездов в Москву императора Александра он обратил особенное внимание на красоту одной из дочерей ее, княжны Наталии. Государь, с обыкновенною любезностью своею и внимательностью к прекрасному полу, отличал ее: разговаривал с нею в Благородном собрании и в частных домах, не раз на балах проходил с нею полонезы. Разумеется, Москва не пропустила этого мимо глаз и толков своих. Однажды домашние говорили о том при княгине-матери и шутя делали разные предположения. «Прежде этого задушу я ее своими руками», — сказала римская матрона, которая о Риме никакого понятия не имела. Нечего и говорить, что царское волокитство и все шуточные предсказания ника-

кого следа по себе не оставили.

Это семейство составляло особый, так сказать, мир Оболенский. Даже в тогдашней патриархальной Москве, богатой многосемейным и особенно многодевичьим составом, отличалось оно от других каким-то благодушным, светлым и резким впечатком. Налицо были шесть сыновей и четыре дочери. Было время, что все братья, еще далеко не старые, были в отставке. Это также было в своем роде особенностью в наших служилых нравах. Некоторые из них, уже в царствование Александра, щеголяли еще по большим праздникам в военных мундирах екатерининского времени: тут являлись на показ особенный покрой, разноцветные обшлага, красные камзолы с золотыми позументами и, помнится мне, желтые штаны. Все они долго жили с матерью и у матери. Будничный обеденный стол был уже порядочного размера, а праздничный вырастал вдвое и втрое. Особенно в летние и осенние месяцы, в подмосковной, эта семейная жизнь принимала необыкновенные размеры и характер. Кроме семейства в полном комплекте приезжали туда погостить и другие родственники. Небольшой дом, небольшие комнаты имели какое-то эластическое свойство: размножение хлебов, помещений, кроватей, а за недостатком их размножение диванов, размножение для приезжей прислуги харчей и корма для лошадей, все это каким-то чудом, по слову хозяйки, совершалось в этой ветхозаветной стороне. А хозяева были вовсе люди не богатые. Помнится мне, что в отрочестве моем по приказанию княгини отводили мне всегда на ночь кровать не кровать, диван не диван, а что-то узкое и довольно короткое, которое называла она, не знаю почему, *лодочкою*. Где эта лодочка? Жива ли она? Что сделалось с нею? Как мне хотелось бы ее увидеть и, хотя еще более скорчившись, чем во время оно, улечься в ней. Вспоминаю о ней с сердечным умилением. Я уверен, что нашел бы в ней и теперь прежний и беззаботный сон, со светлыми сновидениями и радостным пробуждением. Но много утекло с того времени воды, светлой и прозрачной, мутной и взволнованной; с нею, без сомнения, утекла и лодочка моя и разбилась вдребезги. Во всяком случае, мы, русские,—не антиквари и небережливы в отношении к семейным мебели, утварям, портретам предков. Мы привыкли и любим заживать с нынешнего текущего дня.

Мой отец, родной племянник княгини Екатерины Андреевны, с молодости своей до конца питал к ней особенную преданность и почти сыновнюю любовь. Мой

дед был, кажется, нрава довольно крутого и повелительного; сын его находил при матери своей (урожденной княжне Долгоруковой) и при тетке своей теплый приют, а иногда и защиту от холодного и сурового обращения родителя своего.

В памяти моей врезался один разговор отца моего с теткою своею. Она обедала у нас; мне тогда было, может быть, лет десять. Уже сказано было выше, что она мало была учена и образованна. Мир был тогда полон именем Бонапарта; не мудрено, что оно дошло и до нее. За обедом речь как-то коснулась Франции. Она просила отца моего объяснить ей, что это за человек, о котором все говорят. Отец мой был пламенный приверженец Наполеона, генерала и первого консула. Он в сжатом, но живом рассказе нарисовал очерк Бонапарта, перечислил дела его, объяснил значение его во Франции, а следовательно, и во всей Европе, одним словом, преподал в импровизации полный исторический урок. Помню и теперь, какое впечатление произвела на меня эта словом оживленная и раскрашенная картина. Мой отец, как и почти все образованные люди его времени, говорил более по-французски; но здесь нужно было говорить по-русски, потому что слушательница никакого другого языка не знала. Жуковский, который введен был в наш дом Карамзиным, говорил мне, что он всегда удивлялся скорости, ловкости и меткости, с которыми в разговоре отец мой переводил на русскую речь мысли и обороты, которые, видимо, слагались в голове его на французском языке. У отца моего в спальне висел на стене большой бонапартовский портрет, тканый шелком в Лионе и высланный ему в подарок фабрикантом, приезжавшим в Москву. Эти частно-исторические отметки кидают некоторый свет на эпоху. Нельзя не заметить и не повторить, что в то время было более свободы, нежели ныне, разумеется, не в политическом и гражданском отношении, а в личном и самобытном. Были открытые симпатии и антипатии; никто не утаивал их, и общество покрывало все и обеспечивало своею беспристрастною терпимостью. Никто, даже и несогласные с отцом моим, не упрекали его за французские сочувствия его.

Брачные союзы в продолжении времени должны были вносить новые и разнородные стихии в единообразную и густую среду семейства Оболенских. Оно так и было. Но такова была внутренняя сила этого отдельного мира, что и пришлые, чуждые приращения скоро и незаметно сливались, спаивались, сцеплялись, срастались вместе в благоу-

строенном организме, первоначальном и цельном. После некоторого времени, более или менее краткого или продолжительного, и мужа, вошедшие в семейство, и жены, в него поступившие, казались также искони урожденными Оболенскими. Ничего подобного этой *ассимиляции*, этому объединению никогда и нигде не было. Политике можно бы позавидовать, глядя на это само собою, тихо и будто бессознательно совершавшееся перерождение отдельных частных и личностей, всецело, сердцем и обычаями, примыкавших к господствующему единству. Такова была привлекательная и нежнолюбивая сила семейная, которая образовалась и окрепла под сенью и благословением умной, твердой и чадолюбивой матери. Не было ни зятей, ни невесток, ни доморожденных и природных, ни присоединенных: все были чада одной семьи, все свои, все однородные.

Тут, например, был князь Щербатов, брат известной княжны Щербатовой, которой суждено было озаботить и подернуть тенью несколько дней из светлой жизни императрицы Екатерины². Молодому и блестящему флигель-адъютанту императора Павла, живому, светскому, казалось, мудренее было бы подладить под уровень нового семейства, в которое он вступил; но сначала любовь, а потом Оболенская атмосфера переродили и его. Он, приехав из Петербурга в Москву, влюбился в красавицу княжну Варвару. Брак их совершен был романически и таинственно. Его мать, женщина суровая и властолюбивая, противилась этому браку, со всеми последствиями отказа в материнском согласии. Разумеется, и мать невесты не могла в подобных условиях одобрить этот брак. Но, кажется, мой отец благоприствал любви молодой четы и способствовал браку, уговорив свою тетку остаться в стороне и по крайней мере не мешать частью влюбленных. Они тайно обвенчались и в тот же день отправились в Петербург. Помню, как она, в дорожном платье, заезжала к отцу моему проститься с ним и, вероятно, благодарить его за усердное и успешное участие; помню, как поразила меня красота ее и особенность одежды; вижу и теперь платье темно-зеленого казимира, в роде амазонки. На голове шляпа более круглая, мужская, нежели женская. Из-под шляпы падали и извивались белокурые кудри. Детство мое угадывало, что во всем этом есть какая-то романическая тайна. После многих лет старуха княгиня Щербатова простила сына своего и приняла у себя невестку.

Во многом противоположный Щербатову, сделался

после членом семейства генерал Дохтуров, с честью вписавший имя свое в наши военные летописи. И сей боевой служака, женившись, стал мирный и добрый семьянин, совершенно свыкшийся с новым бытом своим. При пробуждении моих воспоминаний о нем предо мною рисуется человек уже довольно пожилой; роста небольшого, сложения плотного, обращения тихого и скромного; помнится мне, был он довольно молчалив, что называется, серьезен и невозмутим. Невозмутим бывал он, говорят, и в пылу битвы. Кажется, Михаил Орлов говорил мне, что в каком-то жарком сражении, посреди самого разгара, нашел он его спокойно сидящего на барабане и дающего приказания войскам, а пули и ядра так кругом и сыпались. Но смерть поджидала его не тут. Видел я его за полчаса до кончины. Это было в Москве. В семействе Оболенских праздновалась обедом, кажется, чья-то свадьба. Дохтуров не садился за стол, чувствуя себя не совершенно здоровым. Но он несколько раз обходил гостей, обменивался с ними несколькими словами, выпил бокал шампанского за здоровье новобрачных и тотчас после обеда уехал. Дома велел он затопить камин, сел пред ним и тут же умер. Нежно любившая жена его была в отлучке и должна была в тот же день или на другое утро к нему приехать. Один из братьев поехал к ней навстречу, чтобы уведомить о постигшем ее несчастье. Она пережила мужа многими годами, нежно и верно преданная памяти его. Я всегда питал к ней чувство особенной привязанности. Из семьи Оболенской она более других дружна была с матерью моею, молодою, из далекого края переселенною в мир ей совершенно чуждый и незнакомый³. Хорошая приятельница, вероятно, руководством и участием облегчала и поддерживала ее в минуты трудные, неизбежные, когда вступаешь на новый путь. Влечением позднего, но не менее того живого чувства ставлю себе в обязанность и приятно мне заявить здесь памяти ее мою нежную и сыновнюю благодарность.

Князь Александр Петрович Оболенский водворил в семейство свое дочь Ю. А. Нелединского⁴. Вот это было уже из совершенно другого лагеря. Но последствия были те же. Нелединская не была красавица, роста небольшого, довольно плотная, но глаза и улыбка ее были отменно и сочувственно выразительны; в них было много чувства и ума, вообще было много в ней женственной прелести. В уме ее было сходство с отцом: смесь простосердечия и веселости, несколько насмешливой. Она очень мило пела; романсы отца ее, при ее приятном голосе, получали

особую выразительность. В сочинениях Жуковского есть очень милое и теплое к ней послание⁵; содержание его наиболее посвящено памяти сестры моей, бывшей впоследствии замужем за князем Алексеем Григорьевичем Щербатовым, с которою с самого детства была она очень дружна. Сначала волокитство князя Александра шло не очень удачно. Приятельница Нелединской, остроумная Хомутова, по этому поводу шуточно перефразировала стихи французской трагедии:

Vous voyez devant vous un prince déplorable,
De la rigueur des dieux exemple mémorable⁶

(а право, много ума и веселости было в нашу молодость!). Нелединская с своим обожателем немножко кокетничала, флертетничала, или, как мой отец говаривал, *пересеменивала*, дело все на лад не шло, но наконец пошло: они обвенчались и многие годы провели в согласии и любви. Молодая внесла новый, свежий элемент литературной и более утонченной светскости в патриархальную среду принявшего ее семейства. Но не менее того добрый, простодушный строй его вскоре подчинил и ее общему семейному настроению. В этой семье не могло быть разногласия. Одним словом, в княгине Аграфене Юрьевне заметно было, что она дочь Нелединского, но вместе с тем было видно, что она и жена Оболенского. Прекрасные и благородные свойства князя достаточно верно выразились в напечатанной прошлым годом книге «Хроника недавней старины»⁷. Умная и разборчивая в людях великая княгиня Екатерина Павловна отличала особенным доверием и уважением двух братьев Оболенских, князей Василия и Александра, служивших адъютантами при герцоге Ольденбургском.

Старший сын был князь Андрей Петрович. Уже вдовый (первая жена его была урожденная Маслова) женился он за границею на княжне Гагариной, дочери той Темиры⁸, которую некогда так нежно и пламенно, с таким страстным самоотвержением любил и воспевал Нелединский. Княжна Гагарина была, кажется, воспитана за границею или довершила там свое воспитание. Это нежное, молодое растение было внезапно пересажено с дальней, чуждой почвы на московскую почву, в другой климат, под условия совершенно новые, которые не могли иметь ничего общего и сходного с тою атмосферою, которою оно до того дышало. Муж был уже не первой молодости, следовательно, не могло быть упоения и особенного увлечения, но не менее того она, так сказать,

с первого дня обрусела, омосквичела и переродилась в купели Оболенского крещения. Нельзя достаточно удивиться этой силе объединения, которое царствовало в этой многочисленной и частью разнородной семье. И вся эта сила почерпала свое законное, освященное, любвеобильное начало в одном чувстве, чувстве семейной связи; в одном имени, в одной власти: имени и власти матери. Река принимает в себя, сосредоточивает в своем лоне влекущиеся к ней ручьи просто, естественно, потому что она река. Мать общим притягательным притоком сосредоточивает в себе семью просто потому, что она мать. Нет власти естественнее, святее власти материнской.

После смерти родителей своих старший в семье, прямой, законный наследник, был князь Андрей Петрович. Без предварительных соглашений, без избрания, а также просто, по общему влечению, он и сделался главою семейства. Авторитет его, не имея законного освящения давности, может быть, и не имел вполне нравственного значения, которым пользовалась первоначальная власть; но в этой династии Оболенских закон прямонаследия не мог быть никем оспариваем. Таким образом, это семейство, это колено Оболенских составило опять, или, вернее сказать, осталось в Москве не разрозненным, не раздробленным племенем, а живую, самобытную и крепко сплоченною единицею.

Время между тем шло своим порядком и со своими видоизменениями. Дом сына не был уже старосветским домом матери. Новые обычаи, новые требования заглянули и отчасти, как бы незаметно, вторглись и в него. Сохраняя, впрочем, свой индивидуальный отпечаток, свою особенную первенствующую ноту, он согласовался с господствующим настроением общезития. Тут бывали и балы и спектакли. Но главным признаком и отличительною принадлежностью этого дома была семейная жизнь. Семейные обеды еще разрослись с размножением семейства, уже усиленного народившимися поколениями. Отличительною чертою этих обедов было и то, что число служивших за столом почти равнялось числу сидевших за столом. В старых домах наших многочисленность прислуги и дворовых людей была не одним последствием тщеславного барства: тут было также и семейное начало. Наши отцы держали в доме своем, кормили и одевали старых слуг, которые служили отцам их, и вместе с тем призревали и воспитывали детей этой прислуги. Вот корень и начало этой толпы более домочадцев, чем

челядинцев. Тут худого ничего не было; а при старых порядках было много и хорошего, и человеколюбивого.

Вовсе не будучи англоманом, князь Андрей Петрович жилав большую часть года в подмосковной своей, селе Троицком, Подольского уезда. Подмосковная была настоящим и любимым местопребыванием его. Там он жил, в Москве гостил. Там была и довольно богатая библиотека с некоторыми роскошными изданиями. Собрал он ее во время пребывания своего за границую. Сам мало пользовался он ею, по крайней мере в последние года. Однажды сказал он мне, что ныне, кроме духовных, он никаких книг не читает. Не знаю, принадлежал ли он к какой-нибудь масонской ложе; но приятельские связи его с Плещеевым, князем А. Н. Голицыным, Кошелевым, графом Львом Разумовским могут удостоверить, что он по крайней мере сочувствовал их духовному и мистическому настроению. Особенно в осенние месяцы деревенский троицкий дом был многолюден и оживлен: все родные с своими чадами и домочадцами, дядьками, гувернантками, прислугою переселялись туда на несколько недель. Бывали некоторые и посторонние из приятелей. Между прочими бывал некто Митрофанов, не знаю, кто и что именно и откуда он. Но он очень любим был в семействе. От него собственно слышал я только одно: «А что, ваше сиятельство, каковы табачки?» То есть каков последний мною купленный турецкий табак. (Тогда сигары были еще мало известны.) Находился тут и отставной генерал Муромцев, большой чудак, но человек честный, умный, крепко изувеченный в екатерининских войнах и сам добровольно и с любовью крепко изувечивавший французский язык, к особенному удовольствию графа Ростопчина, также приятеля его. В Муромцеве было много и сердечности. В 12 году, незадолго до московского разгрома, зная, что денежные средства Карамзина довольно ограничены и что собирается он выехать из Москвы с семейством своим, он добровольно предложил ему взять у него заимообразно десять тысяч рублей. В тогдашних обстоятельствах, когда будущее было очень сомнительно, подобное предложение человеку, с которым не был он в дружеских связях, а только в светско-приятельских, верно определяет оценку и нравственное достоинство его. Даже Карамзин, которого утро было исключительно посвящено исторической работе, жертвовал ею раз или два в течение лета и ездил из Остафьева на день или два в село Троицкое.

Осенние сборы имели здесь преимущественно целью

охоту за зайцами. Охота и все принадлежности ее были хорошо и богато устроены. В промежутках при охоте за зайцами усердно шла охота и за картами; не в виде выигрыша, потому что все были свои и что игра была по маленькой; но надобно же было русской честной компании не терять золотого времени. Иногда садились за карты тотчас после завтрака вплоть до обеда, разумеется, по деревенскому обычаю, в час пополудни. Тут все играли: отцы и дети, мужья и жены, старые и малые. За обедом обыкновенно съедали, в разных видах и приготовлениях, всех зайцев, затравленных накануне.

Карты имели вообще значение в жизни князя Андрея Петровича, хотя он был вовсе не игрок. В первой молодости своей приехал он из Москвы в Петербург с рекомендательными письмами к родным, но не имея в виду никакого особенного покровительства. Положение довольно затруднительное и почти безысходное; но здравый ум его и рассудительность нашли исход. В обществах, где он бывал, сильные мира сего по вечерам играли в коммерческие игры. Чтобы не быть в таком обществе не только лишним, но сделаться и нужным, он решился отложить из небольшого капитала своего потребную частичку и пожертвовать ею для завоевания себе места в новой среде своей. Он предложил себя участником в игре. Определенную сумму он, может быть, и спустил; но главное было добыто: он ознакомился, сблизился с разными значительными лицами, он приобрел право гражданства в городском обществе. После этого остальное пошло само собою. В этом расчете его, в этой отрывочной черте довольно ясно обозначается и склад ума его, и склад тогдашнего общества. Но, впрочем, исключительно ли и одного ли тогдашнего?

Князь Андрей Петрович умер в поздних летах и оставил по себе довольно многолюдное семейство. Дочь его от первого брака была замужем за Николаем Аполлоновичем Волковым, сыном известной в Москве Маргариты Александровны и братом известной Марии Аполлоновны, которая, неожиданно и непредвидимо для самой себя, получила загробную журнальную известность по милости писем ее, довольно нескромно, а частью и не к стати обнародованных в журналах⁹.

Можно положительно сказать, что князь оставил по себе добрую и честную память в московском обществе и даже в Московском университете, которого был несколько лет попечителем, хотя, конечно, ни приготовительные условия, ни самые личные склонности и желания не

предназначали его на подобное звание. Он был, как сказано выше, честный, высокой нравственности, здраво-мыслящий и духовно-религиозный человек. Эти качества, и не без некоторой основательности, обратили на него внимание и выбор императора Александра и министра просвещения князя Голицына. Впрочем, положение, которое умел он заслужить в обществе, побудило еще прежде великую княгиню Екатерину Павловну предложить ему место губернатора в Твери, от которого он отказался. Кажется, позднее было ему предложено звание сенаторское, от которого он также уклонился.

Вот посильный очерк семейной картины старого быта. Краски мною употребленные не яркие, но верны. Самое содержание картины не богато движением и замысловатостью; но оно взято с натуры, писано с памяти, но памяти сердечной, а по выражению Батюшкова:

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной!¹⁰

Признаюсь, мне отрадно было писать эту картину и уловлять в ней мелкие принадлежности и подробности, которые могут посторонним зрителям казаться неуместными и лишними. Но я сам имею свой уголок в этой картине: и я был в ней действующим лицом. Весело, а может быть, и грустно смотреть на себя, как в волшебном зеркале, и увидеть себя, каковым был ты, в любимом и счастливом некогда.

Впрочем, в попытке моей отзывается не одно частное и личное, или, как говорится ныне, *субъективное* побуждение; здесь есть еще и более и широкое и *объективное*. Как ни заглядывай в минувшее, как ни проникай в него, а все же, хотя по соображению и по сравнению, не минуешь настоящего: невольно наткнешься на него. Так и со мною. Посмотрев на то, что было, хочется мне окинуть беглым взглядом и то, что есть. Мне кажется, что ныне едва ли найдется семейство подобное тому, которое мною обрисовано. Не говорю уже о численности. Старое время было урожайнее нашего. Во всяком случае, семейное начало потрясено и урезано, на Западе еще более, нежели у нас. Семейства раздроблены, одни личности выступают вперед. В этом, может быть, есть признак и выражение некоторого улучшения и освобождения, или также, как говорится ныне, *социального прогресса*. Не спорим. Но есть вместе с тем, может быть, и признак, зародыш некоторого таящегося общественного разложения. Есть русская пословица: «Прибыль и убыток на одних санях

ездят». Люди, а особенно мы, русские, во всех вопросах смотрим на одну прибыль, которую возим и катаем, а на попутчика ее не смотрим. Между тем он тут; рано или поздно, может быть, он даст себя знать. Вот отчего наши окончательные расчеты часто неверны, иногда нам и в наклад. Семейное начало есть почва, есть основа, на которой зиждется и общественное. Если не признавать семейного авторитета и дома не приучаться уважать его, едва ли будем мы позднее способны признавать авторитет общественный и честно и с любовью служить ему. Если мы из родительского дома выносим начало розни, то неминуемо внесем ту же рознь и в общество. Тогда уже общества собственно нет, а будут отдельные общества, расколы, которые каждый создает по образу и подобию своему. Искусственные¹¹ узы политического родства не могут иметь прочность и святость естественных семейных уз.

Ныне идет повсеместно спор об уравнении прав и деятельности между прекрасным полом и полом некрасивым. Почему же и не идти этому спору? Нет сомнения, что мужчины могли бы, с вежливой уступчивостью, поделиться с женщинами некоторыми своими присвоенными себе профессиями и занятиями, другие даже им вовсе уступить. Но все это исключения, случайности. Но все же настоящее, природою указанное, святое место женщины есть дом, есть семейный очаг, будь она мать, дочь или сестра. Внешняя, шумная, боевая, деловая жизнь, многосложная деятельность, можно сказать, несовместна с призванием женщины, даже недостойна ее; в скромном и светлом призвании она выше, независимее, свободнее, нежели будет она на искусственных и завоеванных ею подмостках.

Впрочем, искони бывали примеры, что женщины входили в благородное совместничество с мужчинами. Всегда и везде бывали женщины ученые, политические; бывали женщины великие писатели, превосходные художники. Следовательно, неодолимых преград общество пред ними не воздвигало; не было общественного давления, которое заглушало бы природные призвания и дарования, когда теплились в них луч и зародыш дарования.

Скажем мимоходом: если признавать семью, то надобно же кому-нибудь оставаться дома; а когда и жена с утра, подобно мужу, будет обязана отправляться на службу, на работу и к должности, то кто же останется представителем и ответственным лицом семейного дома, семейного начала?

— Quelle est la femme que vous estimez le plus? — спросила Бонапарте г-жа Сталь.

— Celle qui a le plus d'enfants¹², — отвечал он ей наотрез. Ответ, конечно, не очень любезный и даже грубый. Впрочем, вопрос стоит ответа.

Но когда найдется женщина, которая не только мать многочисленного семейства, но и нравственная связь и нравственная сила его; но когда эта мать, подобно крепкой и доблестной жене Священного Писания, наблюдает в доме своем за семейством и хозяйством своим и «не ест хлеба праздности»¹³, то, без сомнения, общее и глубокое уважение ей особенно и преимущественно пододает.

О подобной женщине молчать не следует. Еще более: в нашу эпоху, приткую и легко разгорающуюся пред каждою новизною, а вместе с тем, может быть, чересчур скептическую и отрицательную в других отношениях, сознается полезным и почти обязательным возбуждать или по крайней мере попытаться возбуждать сочувствие к отдаленным образцам, к характеристическим личностям другого времени, другого порядка, других понятий и, так сказать, верований. Не худо иногда сравнивать настоящее время с минувшим и проверять себя, то есть человека. При этом все хорошее, добытое новыми поколениями, при них и останется; никто и ничто не может посягнуть на него. Но при сравнении, при проверке если что-нибудь окажется не совсем удавшимся, если окажется где-нибудь пробел, то почему не позаимствовать у минувшего то, что не сокрушит, не изменит, не ослабит настоящего, а, напротив, может служить ему опорой и целебною силою?

Под влиянием этих соображений я вызвал из мрака забвения, из замогильного молчания имя и образ княгини Екатерины Андреевны Оболенской.

ИЗ ПИСЕМ

А. И. Тургеневу. 7 августа [1819 года]. Варшава

<...> Как можно быть по-этом по заказу? Стихотворцем — так, я понимаю; но чувствовать живо, дать языку души такую верность,